

Максим Горький

Супруги Орловы



Максим Горький
Супруги Орловы

«Public Domain»

1897

Горький М.

Супруги Орловы / М. Горький — «Public Domain», 1897

«...Почти каждую субботу перед всенощной из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточённые женские крики:– Стой! Стой, пропойца, дьявол! – низким контральто кричала женщина.– Пусти! – отвечал ей тенор мужчины.– Не пущу я тебя, изверга!– Вр-решь! пустишь!– Убей, не пущу!– Ты? Вр-решь, еретица!– Батюшки! Убил, – ба-атюшки!– Пу-устишь!».

Максим Горький Супруги Орловы

...Почти каждую субботу перед всеошной из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточённые женские крики:

- Стой! Стой, пропойца, дьявол! – низким контральто кричала женщина.
- Пусти! – отвечал ей тенор мужчины.
- Не пуцу я тебя, изверга!
- Вр-решь! пустишь!
- Убей, не пуцу!
- Ты? Вр-решь, еретица!
- Батюшки! Убил, – ба-атюшки!
- Пу-устишь!

При первых же криках Сенька Чижик, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков во дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазёнками, чёрными, как у мыши, во всё горло орал:

- Сапожники Орловы стражаются! Ух ты!

Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую, озорную голову с бойкой рожницей, выпачканной охрой и мумиёй, жадными глазами смотрел вниз, в тёмную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне её, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.

- Убьёшь ведь, – задыхаясь, предупреждала женщина.
- Н-ничего! – уверенно и с сосредоточенной злобой успокоивал её мужчина.

Раздавались тяжёлые, глухие удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгивания, напряжённое кряхтенье человека, ворочающего большую тяжесть.

– И-эх ты! Ка-ак он её колодкой-то саданул! – иллюстрировал Чижик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика – портные, судебный рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений – то и дело спрашивали Сеньку, в нетерпении дёргая его за ноги и за штанишки, пропитанные красками:

- Ну?

– Сидит на ней верхом и мордой её в пол тычет, – докладывал Сенька, сладострастно поёживаясь от переживаемых им впечатлений...

Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя; и хотя она уже давно знала приёмы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но всё-таки изумлялась:

- Ах, дьявол! Разбил?
 - Весь нос в кровь – так и тикёт! – захлебываясь, сообщал Сенька.
 - Ах ты, господи, боже мой! – восклицали женщины. – Ах, изверг-мучитель!
- Мужчины рассуждали более объективно.
- Беспременно он её должен до смерти забить, – говорили они.

А гармонист тоном провидца заявлял:

– Помяните моё слово – ножом распотрошит! Устанет возиться вот таким манером, да сразу и кончит всю музыку!

– Кончил! – вскакивая с земли, вполголоса сообщал Сенька и мигом отлетал от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании сражения, он терял в её глазах всякий интерес и, вместе с этим, был не безопасен.

Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубахе, с растрёпанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбуждённом лице, он исподлобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шёл к старым розвальням, лежавшим кверху полозьями у стены дровяного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой всё население дома Петунникова. Затем он садился на полозья розвалов, отирал рукавом рубахи пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными полосами красок, – маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены.

Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие тёмные усы, резко оттеняя полные, красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие, чёрные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой, смуглой грудью.

Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет масляной краской, дёгтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обеих этажей дома на двор льются песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь.

Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой и, наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные – народ полуодетый, худосочный и кривоногий, – начинают подтрунивать над костромичами-малярами за их горюхом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками. Орлов сидит в своём углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он – зверь лютый.

Он сидит, охваченный глухой и тяжёлой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и крупных жёлтых зубов. В нём растёт что-то бесформенное и тёмное, красные, мутные пятна плавают пред его глазами, тоска и жажда водки сосёт его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет, ему будет легче, но пока ещё светло, и ему стыдно идти в кабак в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова.

Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она там стонет, чувствует, что она мученица и что она права пред ним, – он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват, – это ещё более усиливает его ненависть к ней, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное тёмное чувство и оно сильнее сознания. В нём всё смутно и тяжело, и он безвольно отдаётся тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобраться в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его.

Вот идёт гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шёлковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Подмышкой у него гармоника в зелёном мешке, чёрненькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень, и всё лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удалство, за игру, за весёлый характер и завидует его лёгкой, беззаботной жизни.

С по-бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцар-рапанной щекой!

Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал её раз пятьдесят, да гармонист и не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.

– Что, брат! опять Плевна была? – спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапожником. – Эх ты, Гриня, спела дыня! Шёл бы ты туда, куда всем нам дорога... Ключули бы мы с тобой.

– Я скоро, – не поднимая головы, говорит Орлов.

– Жду и страдаю по тебе...

Вскоре уходит и Орлов.

Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая, полная женщина.

Голова у неё плотно закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идёт через двор и садится на то место, где сидел её муж. Её появление никого не удивляет – к этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница – полусгнившая и крутая; однажды Гришка упал с неё и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки.

С той поры Матрёна и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко – усатый унтер-офицер, в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позёывая, спрашивает:

– Снова подрались?

– А тебе что? – недружелюбно и задорно говорит Матрёна.

– А ничего! – объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат.

Матрёна тяжело дышит, и в груди у неё что-то хрипит.

– И чего вы всё воюете? Чего б вам делить? – начинает рассуждать хохол.

– Наше дело... – кратко говорит Матрёна Орлова.

– Ваше, это так, – соглашается Левченко, кивая головой.

– Так чего же ты лезешь ко мне? – резонно заявляет Орлова.

– Фу ты, какая! Слова ей не скажи! Как посмотрю я на вас – пара вы с Гришкой! Батогами бы вас лупить надо каждый день – раз поутру и раз вечером – вот что! Были бы тогда оба не такие ежи...

И, рассерженный, он уходит прочь от неё, чем она очень довольна: по двору давно уже ходит говор, что хохол недаром к ней ластится, она зла на него, на него и на всех людей, которые суются не в своё дело. А хохол идёт в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.

Вот откуда-то к нему под ноги подвёртывается Чижик.

– Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! – вполголоса сообщает он Левченко, подмигивая туда, где сидит Матрёна.

– Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! – усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижика и внимательно слушает его, зная, что Чижиком известны все тайны двора.

– Около неё не обрыбишься, – не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижик. – Максимка-маляр пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал – здорово! Прямо по харе, как по барабану!

Полуребёнок, полувзрослый, несмотря на свои двенадцать лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его жизни, на лбу у него уже есть тонкая морщинка, признак, что Сенька Чижик думает.

...На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звёзд, квадратный кусок синего неба, и, окружённый высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигурка, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа...

Орловы были женаты четвёртый год. Был у них ребёнок, но, прожив около полутора года, умер; они оба недолго горевали о нём, успокоившись в надежде иметь другого.

Подвал, где они помещались, – большая, продолговатая, тёмная комната со сводчатым потолком. Прямо у двери – большая русская печь, челом к окнам; между нею и стеной – узенький проход в квадрат, освещённый двумя окнами, выходившими во двор. Свет падал из них в подвал косыми, мутными полосами, в комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась где-то там наверху, а сюда залетали от неё только глухие, неопределённые звуки, падавшие вместе с пылью в яму к Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по стене – деревянная двухспальная кровать за ситцевым пологом, жёлтым, с розовыми цветами; у другой стены – стол, на нём пили чай и обедали, а между кроватью и стеной, в двух полосах света, супруги работали.

По стенам лениво путешествовали тараканы, объедая хлебный мякиш, которым были приклеены к штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки смотрели тёмными пятнами с грязно-серого фона стен.

День Орловых начинался так: часов в шесть утра Матрёна просыпалась, умывалась и ставила самовар, не раз искалеченный в пылу драк и весь покрытый заплатами из олова. Пока кипел самовар, она убирала комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая. Садись пить чай с белым хлебом, которого съедали вдвоём фунт.

Григорий работал хорошо, и работа у него была всегда, за чаем он распределял её. Он делал чистую работу, требовавшую руки мастера, – жена сучила дратву, подклеивала поднаряд, делала набойки на стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был довольно интересный вопрос; летом из экономии печь топили только по праздникам, и то не всегда, питались же преимущественно крошками из кваса, с добавлением луку, солёной рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе. Кончив чай, садились работать: Григорий на квашонку, обитую кожей и с трещиной на боку, жена рядом с ним – на низенькую скамейку.

Сначала работали молча – о чём им было говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе, и молчат по получасу и больше. Стучит молоток, шипит дратва, продёргиваемая сквозь кожу. Григорий иногда зевнёт и непременно заключит зевок протяжным рёвом или воем. Матрёна вздыхает.

Иногда Орлов запевал песню. Голос у него резкий, с металлическим тембром, но петь он умеет. Слова песни то собирались в жалобный и быстрый речитатив и, как бы боясь не договорить того, что хотели сказать, стремительно рвались из Гришкиной груди, то, вдруг растягиваясь в грустные вздохи – с воплем «эх!», – тоскливые и громкие, летели из окна на двор. Матрёна подтягивала мужу мягким контральто. Лица у обоих становились задумчивы и печальны, тёмные глаза Гришки подёргивались влагой. Жена его, погружённая в звуки, как-то тупела, сидя точно в полусне и покачиваясь из стороны в сторону, а иногда она точно захлёбывалась песней, разрывая середину ноты паузой, и снова продолжала вести её в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в чужих словах пустоту и скуку своей тёмной жизни, хотели, быть может, оформить этими словами те полусознательные мысли и ощущения, которые зарождались в их душах.

Порой Гришка импровизировал:

Э-ох, ты, жи-изнь... эх, да уж ты, жизнь моя треклятая...
Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,
Проклятущая тоска-а-а!..

Матрёне эти импровизации не нравились, и она обыкновенно в таких случаях спрашивала его:

– Чего ты завыл, как пёс перед покойником?

Он почему-то тотчас же сердился на неё:

– Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кикимора болотная!

– Выл, выл, да залаял...

– Молчать твоё дело! Я кто – подмастерье, что ли, твой, что ты мне рацеи-то начитывать суёшься, а?..

Матрёна, видя, что у него напрягаются жилы на шее и глаза блещут гневом, – молчала, молчала долго, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев которого гас так же быстро, как и вспыхивал.

Она отвёртывалась от его взглядов, искавших примирения с ней, ожидавших её улыбки, и вся была полна трепетного чувства боязни, что он вновь рассердится на неё за эту игру с ним. Но в то же время сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для неё было приятно, – ведь это значило жить, думать, волноваться...

Оба они – молодые и здоровые люди – любили друг друга и гордились друг другом. Гришка был такой сильный, горячий, красивый, а Матрёна – белая, полная, с огоньком в серых глазах, – «ядрёная баба», – говорили о ней на дворе. Они любили друг друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений и интересов, которые могли бы дать им возможность отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы естественную потребность человека – волноваться, думать, – вообще жить. Если б у Орловых была жизненная цель, – хоть бы накопление денег грош за грошом, – тогда, несомненно, им жилось бы легче.

Но у них не было и этого.

Постоянно один у другого на глазах, они привыкли друг к другу, знали все слова и жесты один другого. День шёл за днём и не вносил в их жизнь почти ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же нищим духом, как сами, иногда к ним приходили гости, пили, пели, нередко – дрались. А потом снова один за другим тянулись бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным раздражением друг против друга.

Иногда Гришка говорил:

– Вот так жизнь, ведьма её бабушка! И зачем только она мне далась?

Работища да скучища, скучища да работища... – И, помолчав, с поднятыми к потолку глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: – Родила меня мать по воле божией, – супротив этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?... Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги – и помер от холеры. В чём же тут сила? И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?

Матрёна молчала, чувствуя в словах мужа что-то страшное; иногда она просила его не говорить таких слов, потому что они против бога, который уж знает, как устроить человеку жизнь. А иногда, будучи не в духе, она скептически заявляла мужу:

– А ты бы вот не пил винища-то – и жилось бы тебе веселее, и не лезли бы в голову-то этакие мысли. Другие живут – не жалуются, а копят денежки да свои мастерские на них заводят и живут потом, как господа.

– И выходишь ты за такие деревянные твои слова – чёртова кукла!

Раскинь мозгами-то, разве я могу не пить, коли в этом моя радость? Другие!

Много ты их, других-то, таких удачливых знаешь? А я разве до женитьбы такой был? Это, ежели по совести говорить, так ты меня сосёшь и жизнь мне теснишь... У, жаба!

Матрёна обижалась, но чувствовала, что муж её прав. В пьяном виде он и весёлый и ласковый, – другие были плодом её фантазии, – и до женитьбы он был весельчак, занятный и добрый...

«Почему это? Неужто и впрямь я ему тяжела?» – думала она.

Сердце её сжималось от горькой думы, ей становилось жаль себя и его: она подходила к нему и, ласково, любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась к его груди.

– Ну, теперь будет лизаться, корова... – угрюмо говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть её от себя; но она уже знала, что он этого не сделает, и ещё ближе, ещё крепче жалась к нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол работу и, посадив жену к себе на колени, целовал её много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушает кто-то:

– Э-эх, Мотря! Живём мы с тобой ай-ай как плохо! Как зверьё, грызёмся... А почему? Такая звезда моя, под звездой родится человек, и звезда – судьба его!

Но это объяснение не удовлетворяло его и, прижав жену к груди, он задумывался.

Они подолгу сидели так в мутном свете и спёртом воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда в такие хорошие моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесённые от него, и она с тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда он, смущённый её ласковыми упрёками, ещё горячее ласкал её, а она всё более разливалась в жалобах. Это, наконец, снова раздражало его.

– Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз больнее, когда я тебя бью. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестре дай волю, так вы и за горло.

Брось разговоры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ему жизнь осточертела?

В другое время он смягчался под потоком её тихих слёз и страстных жалоб и уныло, задумчиво объяснял:

– Что я с моим характером поделаю? Обижаю я тебя, – это верно. Знаю, что ты у меня одна душа... ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы объелся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце этакое зло – разорвал бы я тебя, да и себя заодно. И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающийся и ласковый тон успокаивал её.

– Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем, – говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали друг друга.

– Вот ежели бы дитё у нас родилось – было бы лучше нам, – вздыхая, заявляла она. – Была бы у нас и забава и забота.

– Так чего же ты? Рожай...

– Да... ведь при таких твоих побоях – не могу я принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно бьёшь... Хоть бы ногами-то не бил...

– Ну, – угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорий, – разве можно в этом разе сообщать, чем, по чему бить надо? Да и я не палач какой... не для удовольствия бью, а от тоски...

– И отчего она завелась в тебе, тоска эта? – грустно спрашивала Матрёна.

– Судьба такая, Мотря! – философствовал Гришка. – Судьба и характер души... Гляди, – хуже я других, хохла, к примеру? Однако хохол живёт и не тоскует. Один он, ни жены, никого... Я бы подох без тебя... А он ничего! Он курит трубку и улыбается, – доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не могу... я родился с беспокойством в сердце. Характер у меня

такой... как пружина: нажмёшь на него – дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу – тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый чорт, ничего не хочет, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего! Н-да... Я сижу вот в яме, работаю, а ничего нет у меня. Опять же и ты... Жена ты мне, а – что в тебе занятного? Баба, как баба, со всем бабьим набором... Знаю я всё в тебе; как ты чихнёшь завтра – и то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне чихала... Какая же поэтому у меня может быть жизнь и какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир, потому что там весело.

– А ты зачем женился? – спрашивала Матрена.

– Зачем? – Гришка усмехался. – Чёрт меня знает зачем... не надо бы, ежели по совести сказать... В босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да свободно – иди куда хочешь! Шагай по всей земле!..

– Так иди, а меня отпусти на волю, – заявляла Матрёна, готовая разреветься.

– Это куда? – внушительно спрашивал Гришка.

– А моё дело.

– Ку-уда? – И глаза у него зловеще разгорались.

– Не ори, – не боюсь...

– Али присмотрела себе кого? Говори!

– Пусти!

– Куда пустить? – ревел Гришка.

Он уже держал её за волосы, сбив платок с её головы. Побои озлобляли её, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю её душу, и она, вместо того, чтобы двумя словами угасить его ревность, ещё более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо многозначительными улыбками. Он бесился и бил её, беспощадно бил.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стоная, лежала на постели рядом с ним, он искоса смотрел на неё и тяжело вздыхал. Ему было скверно, совесть мучила его, он понимал, что его ревность не имеет оснований и что он напрасно избил её.

– Ну, будет уж, – сконфуженно говорил он. – Али я виноват? И ты тоже хороша... Вместо того, чтоб меня уговорить, – подзадориваешь. Зачем это тебе надобно?

Она молчала, но – она знала зачем, знала, что теперь её, избитую и оскорблённую, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.

– Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости уж! – Он гладил её волосы, целовал её и скрипел зубами от горечи, наполнявшей всё его существо.

Окна их были открыты, но небо закрывала капитальная стена соседнего дома, и в комнате их, как и всегда, было темно, душно и тесно.

– Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! – шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того, что с болью чувствовал. – От ямы это, Мотря. Что мы? Вроде как бы прежде смерти в землю похоронены...

– Переедем на другую квартиру, – сквозь сладкие слёзы предлагала Матрёна, понимая его слова буквально.

– Э-эх! Не то, тётенька! Хоть на чердак заберись, всё в яме будешь... не квартира – яма... жизнь – яма!

Матрёна задумывалась и опять говорила:

– Бог даст, может, и поправимся...

– Да, поправимся... Часто ты это говоришь. А дело-то у нас, Мотря, не на поправку идёт... Скандалы-то всё чаще, – понимаешь?

Это было верно. Промежутки между их ссорами всё сокращались, и вот, наконец, каждую субботу ещё с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей жене.

– Сегодня вечером пошабашу и в трактир к Лысому... Напьюсь... – объявлял он. Матрёна, странно щура глаза, молчала.

– Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее будешь, – предупреждал он.

В течение дня он с озлоблением, возраставшим по мере приближения вечера всё более, несколько раз напоминал ей о своём намерении напиться, чувствовал, что ей больно это слышать, и, видя, как она, сосредоточенно молчаливая, с твёрдым блеском в глазах, готовая бороться, ходит по комнате, ещё более свирепел.

Вечером вестник их несчастья, Сенька Чижик, объявлял о «стражении».

Избив жену, Гришка исчезал иногда на всю ночь, иногда не являлся и в воскресенье. Она, вся в синяках, встречала его суровая, молчаливая, но полная скрытой жалости к нему, оборванному, часто тоже избитому, в грязи, с налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у неё уже было припасено полбутылки водки. Он тоже знал это.

– Дай рюмочку, – хрипло просил он, пил две-три и садился работать...

День проходил у него в угрызениях совести; часто он не выносил их остроты, бросал работу и ругался страшными ругательствами, бегая по комнате или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипеть, тогда они мирились.

Раньше это примирение имело в себе много острого и сладкого, но от времени всё это постепенно выдыхалось, и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать все пять дней вплоть до субботы.

– Сопьёшься ты, – вздыхая, говорила Мотря.

– Сопьюсь, – подтверждал Гришка и сплёвывал в сторону с видом человека, которому решительно всё равно, спиться или не спиться. – А ты от меня удерёшь, – дополнял он картину будущего, пытливо глядя ей в глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.